

*Ирина  
Степановская*



*Как хочется  
счастья!*

Ирина Степановская  
**Как хочется счастья! (сборник)**

«ЭКСМО»

2013

## **Степановская И.**

Как хочется счастья! (сборник) / И. Степановская — «Эксмо»,  
2013

Их связала музыка. Он играл на аккордеоне, а она, в маленьком черном платье и черной шляпке, пела. Он верил в то, что их ожидает счастье, она полюбила другого. Прошло время, но, сколько бы женщин ни встретилось на его пути, первая любовь все равно оставалась в его сердце. Сборник Ирины Степановской – о любви и искусстве, переплетенных так тесно, что разделить их невозможно.

© Степановская И., 2013

© Эксмо, 2013

## Содержание

Светит месяц, светит ясный	5
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Ирина Степановская

## Как хочется счастья! (сборник)

### Светит месяц, светит ясный

*Я – не кинозвезда. Я – актриса. Быть кинозвездой – просто кинозвездой – это как фальшивая жизнь, прожитая во имя фальшивых ценностей и ради известности.*

*Актёрство – это надолго, и в нем всегда есть превосходные роли, которые можно сыграть.*

*Вивьен Ли, английская киноактриса, лауреат премии «Оскар» за роль Скарлетт О’Хара в фильме Дэвида Селзника «Унесенные ветром», США, 1939 г.*

Я хочу увидеть Нину прямо сейчас. Я плохо спал, какое-то неясное предчувствие мешало мне. Вчера я позвонил и сказал, что приеду. Попросил подобрать книги. Она не стала ничего уточнять.

– Приезжай завтра.

Мне показался новым тембр ее голоса и само его выражение, с каким она сказала эту простую фразу. Эта женщина – лет на двадцать пять старше меня, с которой я знаком уже бог знает сколько времени, вдруг открылась мне с совершенно новой стороны.

«Приезжай завтра».

Когда я был студентом, она говорила мне «вы». «Вадик, вы». Теперь, когда я стал двадцатидевятилетним и, как пишут обо мне журналисты, «реализующим возлагаемые на него надежды», она перешла на «ты».

«Ты, знаешь, Вадик...» – будто приравняла меня к себе. Простая библиотекарьша приравняла меня – реализующего возлагающиеся на него надежды молодого гения – к себе.

Я очень удивился.

Моя машина стоит во дворе – вчера вечером удалось припарковать ее на обочине дорожки, ведущей к подъездам. Обычно, когда я приезжаю, все места уже заняты и мне приходится наматывать круги вокруг двора и близлежащих домов, но вот вчера повезло. За бордюром, отделяющим асфальт от газона, никогда почему-то не растет трава. Там, где должна быть трава, – почва, спрессованная с глиной и песком, исторгает из себя деревья. Их корни, будто вывороченные ураганом, вздымаются из земли, и когда я пробираюсь через них к помойке – выбросить мусор, я почти всегда о них запинаясь, хотя прекрасно знаю, что вот здесь должны быть корни. Я чертыхаюсь каждый раз, но через день запинаясь заново. Березы растут высотой с дом – с мою девятиэтажную башню, и их накренившиеся кроны как раз доходят до самых верхних балконов. В окна из-за них солнце попадает не прямо, а как сквозь резные деревянные ставни, и вдоль кромки бордюра на асфальте почти всегда влага. Мне часто кажется, что дом стоит в березовом лесу, и мне это нравится.

Сегодня ночью, видимо, прошел небольшой дождь – на ветровом стекле остались капли. Желтый лист прилип на капот. Я скинул лист, сел в машину и запустил двигатель. Заработал радиоприемник.

«Сегодня четвертое сентября, всем привет. В Москве семь часов тридцать минут...» Я включил отопление, пристегнул ремень. Брошенный на соседнее сиденье телефон подал голос. Звук арфы. Это Алла. Она сама выбрала себе рингтон. Интересно, арфа у нее для всех абор-

нентов или только для меня?.. Наверняка она считает, что арфа романтичнее, чем, например, трещотка или труба.

Я думаю, Алла очень скоро станет настоящей оперной примадонной. Моя нынешняя постановка тоже будет способствовать этому, и я искренне желаю Алле успеха. Удивительно, как только она забывает, что она – будущая примадонна, то сразу же начинает трещать, как птица-трещотка. Куда только тогда деваются ее хорошо поставленное дыхание и голос? А когда она вспоминает о своем великом предназначении, то начинает говорить, как Галина Вишневская. В последнее время Алла все реже забывает о том, что она молодая звезда, и неотвязно трещит только со мной. С остальными людьми – от дирижера до электрика в театре – она разговаривает медленно, вдумчиво, короткими фразами, глубоким грудным голосом. Ей это идет, но я не хочу сейчас разговаривать с Аллой.

Стало уже заметно позднее светать и раньше темнеть. Ничего не поделаешь – осень. Деревья стоят тихо, и кроны их, наклоненные над дорогой, почти образуют свод. С детства терпеть не могу начало осени. Даже позднее, в конце октября или в ноябре, когда уже по-настоящему холодно и все кутаются в теплые одежды, мне не бывает так противно, как сразу после лета. Ощущение, что вместе с ушедшим теплом душа погружается в спячку, осталось с детства и не меняется до сих пор. Хорошо бы выбраться хоть на недельку в какую-нибудь теплую страну. Можно, в принципе, и с Аллой, но сейчас мне совершенно некогда.

*«... Передаем информацию о состоянии движения на дорогах. Затруднение наблюдается на внутренней стороне МКАД, на всем протяжении от Варшавского шоссе до Профсоюзной улицы и далее...»*

Я тронулся с места и вывернул со двора на улицу. Впереди светились единичные огни машин, по краям тротуара блестели лужи. На фасаде кавказского ресторана, что на углу (типично южная архитектура – во всю стену второго этажа оштукатуренная и выбеленная лоджия с арками и колоннами), все еще горела световая реклама: знойная дама за круглым столиком держит в руке пузатый бокал. А позади нее стоит привязанный, непропорционально маленький по сравнению с дамой ослик. В этом ресторане я не был и быть не собираюсь.

*«... На внешней стороне МКАД на участке от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов скорость не более пяти километров в час...»*

Если перед Третьим кольцом еще не будет полного стояка, я вполне успеваю в библиотеку – дневная репетиция начинается в два.

Опять звонит Алла.

– Вадик! Ты уже встал? Как тебе спалось без меня?

Конечно, она ждет, что я отвечу «плохо», хотя на самом деле о ней сегодня ночью я не вспоминал. С другой стороны, я не хочу с ней разговаривать, но и разочаровывать ее тоже не стоит.

– У-у, милый. Я бы хотела приехать тебя разбудить. Это было бы очень здорово. До репетиции еще есть время.

Я соглашаюсь:

– Ага. – После некоторого молчания: – НУ КУДА ТЫ ПРЕШЬ, УРОД?

– Милый?

– Это я не тебе, Алла. Господи, ну куда ты прешь? – Это я внедорожнику, который оттирает меня с левой стороны.

Все-таки в ее голосе разочарование.

– Ты уже в дороге? Я перезвоню.

Я опять соглашаюсь.

Джип припер меня чуть не к обочине. Это он так вырывает из крайнего левого ряда. Ну хоть бы ты поворот показал, скотина! Ты думаешь, я сейчас выскочу, буду с тобой драться? Да пошел ты... Урод. Морда. Так бы и заехал бейсбольной битой. Жаль, биты нет. Надо будет

прикупить. Пусть лежит в багажнике. Хотя и отжимался-то я в последний раз в институте на кафедре физкультуры. На втором курсе. Лучше бы, конечно, пистолет. На всякий случай. Настоящий. Травматический у меня уже есть. Мне неприятно слышать и читать о всех маньяках и убийцах, но если бы я жил в Америке, то обязательно купил бы себе пистолет. Кстати, в этом году у меня есть реальная возможность поехать. Если постановка будет удачной, а я должен сделать все, чтобы она такой стала, нас реально могут пригласить в Штаты в рамках какого-то там фестиваля. Плевать, что на Аляску, а не в Метрополитен-опера. Пока все равно куда, главное – начать ездить. Сначала Аляска, потом Ла Скала. Алла тоже так считает, поэтому хочет петь в моей постановке, а заодно и со мной спать, и вообще, пасет меня, как моя бабушка в нашем городке пасла козу – бдительно и со знанием дела, – чтобы и молоко давала, и в чужой огород не ходила. А спать с Аллой действительно офигенно, обалденно и охренительно, но только тогда, когда она находится в моей квартире не более двух часов. Из них – час на постель и час на разговоры. Дольше я никого не могу вынести. Когда-то я жил с мамой и с бабушкой в одной комнате в двухэтажном бараке около оврага, и было все нормально. Теперь бабушка уже давно умерла, а мама вышла замуж через год после того, как я окончил институт. По-моему, сейчас она счастлива. Во всяком случае, у нее новая квартира и новый муж – бывший моряк. Не пьет. А мой отец, бабушка говорила, пил.

*«... Четвертого сентября в Москве около семнадцати градусов, переменная облачность, временами дождь».* Голос грустный. От этого прогноза дикторша, видимо, сама опечалилась.

Что там у нас со временем?

*«... Восемь часов пятнадцать минут».*

Еще не цейтнот, но хорошо бы поторопиться.

– Алло, Вадик? – Это снова Птица-трещотка. – Ты уже проехал Третье кольцо? И вообще, ты мне вчера не сказал, что собираешься встать в такую рань. Я бы тоже встала пораньше. Или даже еще лучше – мы могли бы встать вместе, ты сделал бы мне кофе в постель и... Или даже еще лучше! Мы могли бы с тобой снять одну квартиру на двоих в самом центре, а твою сдать внаем, чтобы ты не тратил столько времени на дорогу!

– Алла, у меня все в порядке. Я еду в библиотеку и не хочу жить в центре.

– Зачем тебе библиотека, если у тебя Интернет? И дома, и в машине?

– Алла, движение плотное. Пока.

Я представил, как она сделала обиженное лицо и сама себя спросила, швырнув в сторону лифчик или расческу: «Хм. Вы не подскажете, как пройти в библиотеку? В семь часов утра?»

Наверное, это забавно, что двадцатипятилетняя Алла – 90–60—90, рыжеватая загорелая красавица с сияющими глазами – ревнует меня к библиотечарше Нине – худой, сутулой, ненакрашенной, очень бледной, с веснушками на лице, груди и руках. Нина годится Алле в матери, как, впрочем, и мне, но никогда у меня с матерью не ассоциировалась.

Алла блестит и светится, как медный тазик, у Нины нога сорок первого размера, светлые волосы, стриженные в каре, сливаются с бледной кожей, а какого цвета у Нины глаза – я, ей-богу, не помню. Алла искрится и сверкает. Алла носит сценические костюмы так органично, будто родилась в каждом из них. Нина словно тень ходит по вечно сумеречному читальному залу, в котором с утра до вечера горят лампы, со стопками книг в руках или возит особенно тяжелые в пластмассовой корзине на колесиках, как в супермаркете «Билла». На ней узкие джинсы, балетки и длинная синяя кофта в обтяжку. Она одевается так с тех самых пор, как я ее помню – по меньшей мере, лет десять, а то и двенадцать. Об Аллином существовании Нина не знает. Алла однажды видела Нину, но продолжает ревновать. Впрочем, Алла ревнует всех, кто приближается ко мне на метр, – и мужчин и женщин.

Сейчас она затрещала своей телефонной арфой в третий раз.

– Послушай, я подумала, может быть, мы хотя бы пообедаем вместе?

– Я еще не завтракал. Ты прешь на меня, как трактор.

Она помолчала.

– Это ты мне?

Я отключился.

Стоим. На этом перекрестке всегда долго горит красный. Здесь машины с боковых улиц внедряются в проспект, как периферические вены вливаются в магистральный ствол.

Я переключил радиостанцию, и теперь уже мужской голос мне сообщил, что сегодня «... четвертое сентября, в Москве переменная облачность, во второй половине дня ожидается дождь».

Я почувствовал непонятное раздражение. Они уже затрахаили с этим четвертым сентября. Можно подумать, что на одной радиостанции сегодня четвертое сентября, а на другой пятое или шестое... Кстати, четвертое сентября – знакомая дата. У кого-то сегодня день рождения. У мамы в феврале. У дирижера? Нет, кажется, у него – десятого.

Если Алла думает, что она может трещать без перерыва, то по крайней мере сегодня это не пройдет. Теперь она, опять мурлыкая своей арфой, предложила мне в подарок айпэд.

– Вадик, хочешь, я подарю тебе айпэд, и тебе не нужно будет ездить в библиотеку?

– Даже если ты подаришь мне десять айпэдов, я все равно поеду туда, куда хочу.

Теперь она отключилась первая.

Кстати, я действительно не помешан на девайсах, хотя это считается чуть ли не преступлением против нравственности. Теперь это все равно что быть атеистом. Конечно, я разговариваю по айфону и не отвергаю все нанотехнологии сразу, но просто не могу понять, чем электронные игры лучше театра, а электронные книги превосходят бумажные. Когда я беру в руки планшет, в который закачан текст, мне уже заведомо не хочется его читать. Это все равно, как если вместо еды мне бы давали какую-нибудь питательную пасту в тубиках и уверяли бы, что нет никакой разницы между нею и настоящей свиной отбивной на косточке и в сухарях. Я знаю, что проповедую ересь – электронная книга экономичнее и практичнее, но я люблю все живое – живой голос, живую книгу и яйцо от деревенской курицы. Всмятку. Может быть, кому-то это забавно. Не знаю. Мне все равно.

Теперь мы стоим перед Таганской площадью. Еще не хватало, чтобы Алла начала командовать, куда мне ехать. К тому же я стараюсь ради нашей общей работы. Интересует меня обмундирование американских конфедератов в войне Севера и Юга американских штатов. Нашему художнику – двадцать один, он чей-то сынок, и мне его сосватали в таком тоне, что отказаться было невозможно. На мой взгляд, единственное, что этот парень может делать, так это многозначительно закатывать глаза и критиковать меня в ЖЖ. Пока в завуалированной форме, но если ему все время спускать, он скоро начнет атаковать меня в глаза. Конечно, я легко могу его заткнуть, но ссориться с теми, кто за ним стоит, не входит в мои планы. Пока у меня нет никакой возможности избавиться от этого «гения». И сейчас он упорно гонит, что костюм генерала Ли должен быть похож на костюм гоголевского Городничего. В этом и заключается «гениальная идея» – смешать русское и американское, потому что «мы очень похожи» и «у нас и у них в это время было рабство». Упс.

Еще я не переносу шнурки этого идиота – один из них розовый. Еще раз упс. Интересно, почему нетрадиционная сексуальная ориентация дает человеку такое осознание собственного превосходства? На мой взгляд, этот тип вообще не похож ни на мужчину, ни на женщину. Он напоминает птицу на длинных ногах. Узкая голова с крючковатым носом, тонкими губами и выдающимся кадыком. И походка – будто у цапли. Ступни выворачивает, когда делает шаг. Туловище короткое, а руки длинные, словно без локтей. Отвратительный тип. Я не агрессивен по натуре, но почему-то мне все время хочется его ударить.

Недаром на Таганке раньше была пересылочная тюрьма. На этой площади и теперь полная свалка. Напирают со всех сторон. Можно весь путь проскочить за пятнадцать минут и

еще полчаса простоять только здесь, на двух перекрестках, где встречаются потоки машин с Садового кольца, с Волгоградки и с Воронцовской улицы. Да еще стадо троллейбусов прется на водопой вниз к Яузе и Москве-реке. И пешеходы хотят побыстрее прорваться к метро, ко всем шести выходам трех пересадочных станций. Что-то мне давно уже не звонит Алла. Сейчас доеду до места и позвоню ей сам. Приглашу после репетиции пообедать.

Я, наконец, прорываюсь в центр. Сейчас направо через Яузу и дальше в переулки. Немногие знают этот путь, а я исходил его студентом. Иду и думаю, что дал Алле петь Мелани, а она хотела – Скарлетт. Даже обиделась на меня вначале. Но на Скарлетт у меня есть другая певица. Со Скарлетт – никаких хлопот. А вот над образом Мелли я еще должен поразмыслить. В конце концов, если какой-то американский парень – мой ровесник – написал оперу по избитейшему для американцев сюжету «Унесенных ветром», а мне доверили эту оперу поставить, то это не значит, что я обязан во всем следовать первоисточнику. Из русской постановки я должен сделать сенсацию со всеми вытекающими из этой сенсации последствиями. Естественно, для нас – позитивными.

Я уже давно чувствую, что иду по следу, но не могу пока найти лисицу. Я обожаю это состояние. Неохота называть его творческим озарением – но по сути это так, по-другому не скажешь. Я думаю, думаю, думаю о тех людях, которых изображают актеры... Я вижу – все правильно, но вместе с тем – все не так, как я хочу. Правильно, но выходит плоско. Достоверно – но скучно. Люди приходят на спектакль за новым. Им нужно напитать свои головы чем-то еще, кроме того, что они уже знают. Но не слишком сложным, иначе они с досадой отвернутся. Они ведь и так устают, эти люди. Они хотят задуматься, но ненадолго. И я работаю для тех, кто не смотрит на сцену бездумно. В то же время есть важная грань, которую нельзя переступить, – если ты сделаешь слишком сложно, от тебя отвернутся с досадой и скажут, что ты сам дурак.

Все, последний светофор перед набережной! Я уже хочу есть. С самого утра я не люблю завтракать. Мне как-то тревожно завтракать одному – даже когда остается время, я все равно не могу спокойно есть, потому что тороплюсь. Все время боюсь куда-то опоздать. Не получаю удовольствия от еды. Я думаю, это из-за пробок – никогда не знаешь, доедешь ли вовремя. Но пересаживаться из машины на метро ни за что не хочу. В машине я нахожусь в своем личном пространстве. Метро для меня – враждебная среда. Толпы чужих мрачных людей. Удивительно, что студентом я любил метро. Наверное, из-за того, что в нем тепло. Да и народу тогда было все-таки меньше. Зато теперь я беру с собой в машину кофе в термосе и бутерброды. Мне нравится приехать туда, куда надо, чуть раньше, встать подальше, где тебя еще никто не видит, и выпить кофе, не пересаживаясь, прямо на водительском сиденье, просто глядя по сторонам. Пить кофе и наблюдать жизнь за стеклами твоей машины. При этом двери машины должны быть закрыты на замок.

Довольно часто я завтракаю в буфетах или в кафе, но в компании – когда это бывает полезно для работы. Настоящий кайф – это когда ты знаешь, что у тебя есть в запасе еще целых десять-пятнадцать минут, и ты можешь посидеть в машине один, ощутить во рту вкус сладкого горячего кофе, и не нужно напрягаться, чтобы выглядеть веселым, энергичным и умным. Ты можешь побыть один со своим плохим или хорошим настроением, со своими мыслями и вообще без мыслей. И выделить-то для этого счастья нужно меньше получаса. Но часто и на эту малость не удается найти времени за целый день. Вот уже лет восемь, как я бешено бегу вперед. Очень успешно, кстати, бегу. Но...

Припарковался, нашлись места почти возле самого здания. Я взглянул на часы. Отлично! Как ни тянулась дорога, а все-таки я приехал по плану. Не облажался. Ну что же, десять минут у меня есть на завтрак – и вперед, к американским конфедератам. К черту ваши утренние сообщения по «бизнес-FM». Тон у вас – будто сводки с фронта и мы отступаем. Меня от голоса

Левитана всегда тошнит. Давайте музыку! Я перегнулся через спинку сиденья за термосом. И вдруг ворвалось: «Non! Rien de rien...» Голос, входящий в нутро без проводников.

И тут... будто стрела просвистела возле уха и вонзилась в висок. Беспорядочные стекляшки сошлись в четкий рисунок витража. Я увидел, как невысокая девушка в черном платье и черной шляпке встала на постеленный мной прямо на асфальт полосатый домотканый коврик, сюда же относим четвертое сентября и старомодное словечко «облажался». Я вспомнил. Закрыв глаза, пальцы на миг перестали крутить крышку термоса. Я выключил Пиаф. Настала тишина. И в этой тишине я отчетливо услышал визг тормозов где-то за углом, а еще – неясный гул нашей студенческой аудитории перед очередной лекцией и дурацкое словечко «облажаться», несущееся почти из всех углов.

Сейчас так уже не говорят, хотя прошло вовсе немного лет, а вот когда я поступил в институт, это слово было слышно в каждой комнате нашего общежития, на каждой лестнице и из каждой курилки. Цель жизни тогда уже намечалась у всех – не облажаться.

Я надкусил бутерброд и стал жевать.

И вдруг увидел себя тогдашнего в церкви. В промокшей ветровке с поднятым воротником, замерзшего, с модной тогда холщовой сумкой на длинной лямке через плечо. Тогда был тоже прохладный день, гораздо более прохладный, чем сегодня. Я был худой. Ужасно худой – от того, что случилось той поздней весной, я не мог есть несколько месяцев, даже дома, в каникулы.

Все наши теснились в центре довольно большого зала вокруг двух высоких помостов, на которых стояли гробы – белые гробы с какими-то финтифлюшками, кистями и позолотой – Лехин отец организовывал это дело по первому разряду. Девчонки ревели в голос. Цветов было не так уж много. Розы стояли в корзинах, как на концерте, – это опять расстарался Лехин отец, а наши цветов принесли мало. После каникул денег у всех было не ахти. Я облажался в том, что не посмел подойти ближе. Я так и остановился у самого входа на проходе. Меня толкали незнакомые люди, а наши, кто знал и видел мое лицо, шептали: «Вадик, уйди!» А кое-кто, кто был не в курсе, наоборот, говорили мне: «Чего ты тут встал? Иди, простись!» Но я все стоял на одном месте – ни назад, ни вперед. Танину мать отливали водой – она причитала и все старалась кинуться на Танин гроб. Бабушку их я не видел, но, судя по тому, как огибали люди какое-то невидимое с моего места пространство – как волны бегущей реки огибают плоский, еле выступающий над поверхностью воды камень, она тоже находилась там. Лехин отец очень суетился. Он был просто Лехина копия – лет через двадцать мой бывший друг стал бы точно таким – высоким и одновременно очень плотным, красным и рукастым. Собственно, Леха был таким и сейчас, наверное, он оставался таким даже в гробу. Его отец в новехоньком черном костюме и ослепительно белой, тоже новой, рубашке без галстука, застегнутой под самый ворот, крутился вокруг гробов и все поправлял что-нибудь, на что падал его взгляд. Он без конца трогал кисти и цветы, выпрямлял свечи, разглаживал покрывала, расставлял людей в каком-то одному ему понятном порядке. Он совсем не мог стоять на месте, руководил и все время всем что-то указывал. Он смахивал с красного лба капли пота и, я хорошо это видел, часто вытирал мясистыми руками бегущие ручьи слез со щек. А Лехину мать я не мог узнать в толпе. Она, наверное, была среди каких-то одинаковых женщин в темных капроновых шарфах и одинаковых черных платьях. Я вспомнил, что Леха как-то рассказывал мне, что у его матери восемь сестер и ни одного брата. Я думаю, это они и были – Лехины тетки. Все одинакового роста, дородные, с темными глазами и бровями. «Деньги-то испортят, а любовь никогда...» – смешно передразнивал Леха своих родственниц, когда на его день рождения они все заваливали его какими-то глупыми подарками, а он, разбирая, кидал презенты на кровати – на мою и свою. Тетки никогда не дарили ему деньги. Все какие-то сувенирчики «со значением». Леха, иронизируя и потешаясь, читал надписи к подаркам вслух. Иногда выходило даже забавно.

Потом эта груда подарков либо оказывалась на помойке, либо, что было чаще, Леха передаривал наиболее ценные сувенирчики знакомым девушкам.

Конечно, я облажался в тот день, четвертого сентября. Я не подошел тогда ни к Лехиной матери, ни к отцу. И уж тем более не собирался подходить к бабушке и матери Тани. Ребята говорили, что они обе потом спрашивали, уже, кажется, на сороковой день, знаю ли я, что случилось, и почему не прихожу. Я облажался и в том, что не мог скрыть от ребят свою злость и отмалчивался, не зная, что им сказать и как себя вести. Ребята смотрели на меня, а я видел в их глазах какое-то внутреннее неодобрение. Не знаю, чего они ждали от меня. Что я каждый день стану носить цветы на кладбище, на одну общую новенькую могилку? Может быть, сам лягу рядом с ними под пластмассовые венки?

Одобрал ли я свое поведение? Наверное, нет, но и винить мне себя было не за что. Было ли мне жаль Таню? Сейчас, наверное, да. А тогда я не мог скрыть даже от себя, что я ее ненавижу. И Леху, естественно, я ненавидел тоже.

Мне всегда нравилась эта улица, на которую я приехал. Почти всегда здесь тихо. За невысокой изгородью виден католический собор с розеткой. Здания вокруг светло-серые, мокрые от ночного дождя и нежилые. Редкое уже ощущение прежней Москвы. Учреждения, офисы, недалеко на взгорке толстые монастырские стены, крошечные магазинчики в подвалах... Раньше во всех этих домах жили люди. Здесь размещались старые коммуналки с вывешенным в коридорах бельем и старыми детскими ваннами – даже еще в девяностых были. В сравнении со здешними коммуналками наша общага казалась вполне приличным студенческим жильем. Теперь коммуналки перестали существовать, но вместе с ними исчез и человеческий дух здешних мест. Только работники офисов спешат на работу и с работы. От здания же библиотеки – последнего оплота прежнего порядка – ближе к обеду в воздухе распространялся животворящий дух – для посетителей библиотечного буфета здесь уже много лет пекут пирожки. Когда я был студентом, Нина иногда угощала меня пирожками. Только тогда я звал ее – Нина Антоновна.

Посмотрев на часы, я убедился, что просидел в машине пятнадцать минут. Выпил ли я кофе? Крышка от термоса – мой походный стакан – была пуста. На дне ее блестели остатки коричневой жидкости. О чем я думал сейчас? Ни о чем. И вдруг из памяти вынырнуло пышущее румянцем круглое молодое лицо, и я будто услышал раскатистый смех и сочный баритональный говорок с раскатистым «р-р-р».

– Что с тобой делать, старик, прямо не знаю! Но так уж и быть – опиши дяде Лехе пр-р-роблему и увидишь, как он быстро ее р-р-рассосет!

Обладатель этого лица громко заржал и хлопнул меня по спине. И это было так явственно, что я даже подался вперед, чтобы не улететь на несколько шагов от этого хлопка, как это частенько бывало в те годы, когда я и Леха жили вместе в одной комнате. Вот и сейчас я инстинктивно вжал голову в плечи и от неожиданности ткнулся грудью прямо в руль. Черт бы тебя побрал, сволочь Леха. Зачем ты свалился сегодня мне на башку?! У меня и без тебя полно важных дел.

Я вылез из машины и включил сигнализацию. Стрелки часов на фасаде здания отщелкнули ровно девять. Двери библиотеки отперли изнутри. Я вошел. Рабочего настроения как не бывало. В голове растекся липкий влажный туман. Огромный читальный зал вернул меня к действительности. Сегодня я был первым посетителем. Здесь не было никого, кроме меня и Нины, которая сидела в своем закутке в глубине зала, как будто и не уходила никогда отсюда ночевать. На ее столе в любое время суток горела лампа.

– Здравствуй, Нина.

Она посмотрела мне в лицо и вдруг поднялась. Я подошел к ней вплотную. От общего зала нас отделяли высокие стеллажи. Книги на них стояли так тесно, что в этот закуток только

сверху, сквозь полки, просачивались тонкие горизонтальные полоски света. Ощущение было, что мы стоим в чулане, набитом книгами от пола до потолка.

Ее лицо вдруг порозовело. Что-то в ней было сегодня не так. Я присмотрелся и понял, что Нина сегодня в другой кофте – не в той, постоянной, синей, в которой она ходила всегда, сколько я ее помнил. Теперь на ней было что-то светлое, короткое и вязаное – что-то такое, что очень ей шло.

– Нина...

Она стояла и смотрела на меня, и что-то странное читалось в ее широко раскрытых глазах. Я вдруг заметил, что открытая часть груди и шея Нины внезапно вспыхнули нежными розовыми пятнами. И все лицо ее запрокинулось ко мне и стало молодым, трепещущим. Трепетали губы и веки, билась, сильно пульсируя, бледно-голубая жилка у виска, трепетно отчетливо обрисовались ноздри.

Я сделал последний шаг и подхватил Нину на руки. Она прильнула ко мне безрассудно и жарко, руки ее обвились вокруг моей шеи. Она была не такая уж маленькая, но очень худая. И я легко поднял ее и понес – туда, где сходились стеллажи в очень узкий коридор. Выхода из него не было – стеллажи упирались в огромные книжные шкафы.

Я поставил ее на пол и стал целовать. Она не удивилась, только вся выгнулась назад, еще больше запрокинув голову, и быстро-быстро шептала:

– Что ты?.. Тише-тише-тише-тише...

Я вел себя как безумный. Я ни о чем не думал и ничего не понимал – ни почему вдруг эта женщина согласится соединиться со мной сейчас же, прямо между этих книжных полок, ни зачем мне это надо. Я только чувствовал необыкновенный взрыв желания и четкую уверенность, что и Нина хочет сейчас меня так же страстно, как я ее. Я впивался в нее поцелуями, я расстегивал ее кофточку в полумраке между книг. Нина была податливой и нежной, и в то же время весьма ловко и умело мне помогала. Я ощутил вдруг страх и восторг. Страх – оттого, что сюда могут войти, а восторг от того, что я вызвал прилив желания у женщины, которая раньше относилась ко мне как к мальчику намного моложе ее.

Кофта Нины оказалась на ощупь воздушной и теплой. Она была восхитительно просторной для того, чтобы я беспрепятственно мог проникнуть под нее и, не стесненный ничем, в упоении ласкал горячую спину Нины, ее нежные плечи, ее выступающие лопатки и очень маленькую и мягкую грудь.

– Сядь на лестницу, – вдруг сказала она, и я послушался.

Спиной я нащупал стремянку, на которую взбирались библиотекари, чтобы достать книгу с верхней полки, опустился на нижнюю – довольно высокую, впрочем, ступеньку – и поднял на себя Нину.

Ее живот был уже не таким упругим, как, например, у Аллы – ниже пупка образовалась мягкая выпуклость – предательская кожная складка. Но мне эта складка вдруг очень понравилась – очень мягко и ловко она прижалась к моему животу. Я ощутил ее полулунную нежность и закрыл глаза. Нинино лицо раскачивалось над моим, а губы ее были приоткрыты и улыбались. Я потянулся к ней и осторожно прикусил зубами ее подборок. Наши глаза упирались друг в друга взглядами, но мы не видели ничего. Мы будто плыли на парусной лодке в сильный шторм. От нашего суденышка остались только скамейка и мачта – переключатель той лестницы-стремянки, на которой я сидел, и вертикальная доска стеллажа, о которую Нина уцепилась руками.

– Поторопись... – прошептала она, задерживая дыхание. Я застонал. Теплая и розовая, с мерцающими глазами и влажной, прилипшей ко лбу прядью волос, Нина вдруг бессильно накренилась и стала сползать с меня. Я подхватил ее и, останавливая качку, крепко прижал к себе. Она постепенно приходила в себя, и по мере возвращения сознания наши тела неумолимо и безвозвратно разделялись. Дыхание вернулось к нам. Я осторожно отстранил от себя Нину

и поставил ее на пол. Но чувство близости еще сопротивлялось разъединению. Еще некоторое время мы постояли с ней, обнявшись как лошади, и я чувствовал, как у нее еще изредка вздрагивали ноги. Но тут вдруг заскрипела дверь, послышался шум чьих-то энергичных шагов.

– Здравствуйте, есть здесь кто-нибудь? – женщина стала приближаться к Нининому столу. Мне показалось, что Нина сделала над собой усилие, чтобы ответить. Я же вообще не в состоянии был произнести ни звука.

– Одну минуту! Только принесу книги.

Нина быстро подвинулась так, чтобы закрыть меня своим телом. Чья-то голова заглянула в просвет и успокоилась, увидев между стеллажей Нину. Я замер, вдавившись в полки, думая о том, будет ли слышен в зале звук застегиваемой металлической молнии.

– Сейчас иду! – Нина вспорхнула на нашу лестницу. В руках ее замелькали стопки книг, которые она почти бросала сверху в пластмассовую корзину. Воспользовавшись этим шумом, я сумел проскользнуть между книжными шкапами и выйти в зал. Посетительница, женщина средних лет, терпеливо ждала Нину у столика. Потом до меня донеслось дребезжание катящейся тележки. Я взглянул в просвет между стеллажами и увидел удаляющуюся от меня Нинину спину. Корзину с книгами Нина катила за собой. Минуту назад в моих руках была живая плоть – горячая, хрупкая, голая, а сейчас от меня удалялась мало знакомая мне женщина, и я с каким-то странным изумлением вспоминал, что она и я – мы были единым целым буквально несколько мгновений назад. Это казалось непостижимым. Воспользовавшись тем, что посетительница склонилась над столом с какими-то бумагами в руках, Нина обернулась и посмотрела в мою сторону. Я опустил глаза, а когда посмотрел на нее в следующую секунду, она уже о чем-то спокойно говорила с посетительницей. Я повернул к двери. Навстречу из вестибюля потоком шли утренние посетители. Я пропустил их в дверях и отправился в буфет.

– Старр-рик, куда ты чешешь? – спросил меня Лехин голос, когда я спускался по лестнице.

– В библиотеку.

– На хр-р-рен она тебе сдалась?

– Мне нужно написать курсовую.

– Смотри там, не засни.

– Да ладно тебе.

Вот, Леха, я и ходил в библиотеку.

Пирожков в буфете еще не напекли.

– Тогда чашку кофе, пожалуйста.

Я сел за столик к стене. В буфете я был не одинок – еще три человека сидели поодиночке – каждый за своим столом. Вид у посетителей был задумчивый. Интересно, какой сейчас вид у меня?

Мы познакомились с Лехой на первом курсе в день заселения в общежитие. И как-то так получилось, что я почти сразу же попал под его покровительство. Мне тогда еще не исполнилось и восемнадцати, а Леха был на полтора года старше и уже целый год прожил в Москве самостоятельно – первый его опыт поступления в институт по какой-то причине оказался неудачным, но в свой родной Краснодар он не вернулся. Он уже многое здесь, в Москве, знал, особенно по части кафе, магазинов, рынков и тусовок. Конечно, он был гораздо более приспособлен к самостоятельной жизни, чем я – провинциальный мальчик с Севера из неполной семьи.

Студентов из вновь прибывших в тесном холле в очереди к комендантше оказалась тьма. Я еще от дверей обратил внимание на его крепкую, хорошо развитую спортивную фигуру. По случайности оказалось, что в очереди я встал за Лехой.

Несмотря на середину августа, в тот год в Москве стояла жара, и полной, немолодой уже комендантше в ее комнатухе за высокой стойкой было совсем нечем дышать. С ее лица градом катился пот, казалось, сейчас ее уже хватит удар.

– Кто оформляется – все на улицу! Освободите проход! – громко, не выдержав, закричала она. Наверное, ей давно уже следовало бы это сделать, но не так-то легко организовать наше счастливое и немного растерянное стадо.

– Ко мне в комнату заходить с документами по одному!

Некоторые студенты действительно послушались ее приказа, но я все-таки решил остаться в холле, только отошел подальше к окну. Я поступил так в основном из-за того, что Леха, за которым я занял очередь, тоже остался в здании, а я просто побоялся его потерять. В холле стало свободнее, но все равно еще было жарко и душно. Туда-сюда сновали приехавшие после каникул студенты старше нас, на которых мы, первачки, невольно смотрели с уважением.

– Выйдем покурим? – внезапно обернулся ко мне Леха. Потом я узнал, что он ненавидел молчание и одиночество, особенно когда находился в толпе.

– Выйдем, – согласился я, хотя не курил. Мне стало лестно, что он обратился ко мне, хотя в сравнении с ним – высоким и сильным – я был на вид слабоват. Мы оставили свои сумки в сторонке. На свою Леха бросил сверху куртку, и мы, предупредив оставшихся ребят, вышли на улицу. Леха тут же вытащил сигареты и закурил, а я стоял рядом, стараясь держаться независимо. Но, несмотря на суету, на жару и на неопределенность будущего, на душе у меня было ужасно хорошо. Мне все казалось отличным – ведь я впервые в жизни чувствовал себя уже почти взрослым и независимым, я вступал в самостоятельную жизнь. И все, что меня окружало теперь, обещало быть очень веселым – и отцветающая возле входа в двух одинаковых алебастровых вазах пыльная петуния, и лежащая под тополями скрученная шелуха павших листьев, и шурящийся на солнце Леха. А с улицы от троллейбусной остановки все прибывали и прибывали новые студенты – с сумками, пакетами, чемоданами на колесиках, а некоторые даже (это я потом узнал) с концертными костюмами в специально пошитых чехлах.

– А ведь приятно, черт возьми, сознавать, – вдруг сказал мне, сплюнув в сторону, Леха, – что все-таки мы многих желающих оказаться здесь обскакали!

Я почему-то смутился и промолчал.

– Ты на платном? – снова спросил меня Леха.

– На бюджете.

– Без поддержки поступал?

Я неопределенно пожал плечами.

– Ну, ладно! – Он небрежно швырнул окурок в сторону тополей. – Я слышал, здесь цивилизованно – в комнате по двое. Давай с тобой в одну комнату?

– Давай! – Я улыбнулся ему, потому что действительно был не прочь устроиться с ним вместе.

– Тогда пошли, – он повернулся и пошел первым, а я последовал за ним и еле удержался, чтобы не пойти затоптать тот окурок, который он выбросил.

– Ты чего? – Он, видно, почувствовал, что я замедлил ход. Он вообще оказался хорошо чувствующим и даже прозорливым и любил пользоваться этим, чтобы надавить с какими-то целями на чувствительные места. Но пока он относился ко мне снисходительнее, чем к другим, я с легкостью прощал ему это качество и даже иногда восхищался им.

– Ничего, – я все-таки заставил себя не смотреть на то место, куда упал окурок. Это было у меня пунктиком. Я ужасно боялся всего, что могло вызвать пожар. Осенью и зимой, даже если у нас в квартире царил собачий холод, я все равно не разрешал оставлять на ночь включенным отопительный рефлектор. Был у нас такой – блестящая металлическая розетка с открытой электронагревательной спиралью. По десять раз я спрашивал у бабушки, выключила ли она это пожароопасное чудо на ночь.

– Да спи ты, ничего не случится. Ведь холодно, – уговаривали меня. Но мне все равно казалось, что ночью рефлектор каким-нибудь образом может свалиться со стола, на котором он стоял, упасть на пол и загореться. И если я просыпался и видел на столе его огненный спиралевидный глаз, я, несмотря на то что очень хотелось спать, все-таки заставлял себя вылезти из постели, шлепал босыми ногами по холодному дощатому полу к розетке и выдергивал штепсель. А потом из своей кровати сонно наблюдал, как быстро меркнет на столе его угасающий глаз, и с ощущением победы над страшным чудовищем и чувством выполненного долга теперь уже крепко засыпал.

Дело было в том, что класса после третьего, летом, с территории пионерлагеря я видел, как в деревне за речкой, примерно в километре от нас, горело несколько старых домов. Все ребята высыпали тогда на берег. Я до сих пор помню черный дым пожара, долетавший до нас пепел и свой страх, что огонь перекинется на наши корпуса, хотя из-за реки это вряд ли могло случиться. В деревню приехали пожарные, и наш директор, сторож и воспитатели – два студента пединститута тоже побежали на место происшествия, перебравшись через речушку вброд и оставив нас на девчонок-вожатых и повариху. Потом мы узнали, что все дома сгорели дотла, и люди остались без крова. Этот пожар произвел на меня очень сильное впечатление. Еще в течение нескольких лет мне снилось одно и то же: что я возвращаюсь домой из лагеря, а дома нашего нет. И когда я просыпался и понимал, что это только сон, а у меня все в порядке и рядом есть и мама и бабушка, я чувствовал себя уж если не счастливым, то, по крайней мере, спокойным.

Я не заметил, как выпил кофе. В огромной кастрюле, прикрытой марлей, из кухни вынесли первую партию пирожков. Я подумал, не съесть ли пирог, но мужественно от этой мысли отказался. Надо было возвращаться в зал.

Я отнес свою чашку, до последнего оттягивая этот миг, когда снова придется посмотреть Нине в глаза, и медленно все-таки пошел. В зале было все как всегда. Уже довольно много людей сидели за столами и работали. Я прошел к Нининому столику и вдруг понял, что Нины нет. А на ее месте сидит седая и очень пожилая библиотекарьша из абонемента, которую я тоже хорошо знал.

Она повернула ко мне голову, подняла высоко на лоб очки, и в улыбке узнавания возле ее глаз и рта сложились запеченные временем складочки:

– Вадичка! Что-то не заходили к нам целое лето! Наверное, уезжали куда-нибудь? Тут Нина Антоновна приготовила для вас книги, просила передать. Идите за стол, я вам принесу.

– А где она сама?

– Отпросилась домой. Давление сильно поднялось, сердце закололо. Заведующая ее отпустила. Ниночка-то ведь у нас даже отпуск редко когда брала, грех ее не отпустить.

– Давайте я сам возьму книги. Они ведь тяжелые.

– Ничего-ничего, я прикачу в коляске. Ниночка уж столько вам набрала...

Мелкие седые кудряшки задрожали, щуплая фигурка в синем рабочем халате вылезла из-за стола, и крошечные кривые ножки в толстых чулках и аккуратных старых коричневых туфлях быстро засеменяли к стеллажам, к красной пластмассовой корзине на колесиках. Я шел за Валентиной Петровной и размышлял, правда ли у Нины поднялось давление, или она ушла потому, что не хотела меня видеть.

– Так вы, Вадичка, уезжали куда-нибудь?

– Нет, Валентина Петровна, дел было много. Но вот как понадобилась справочная литература – так сразу к вам.

– У-у-у! – Она уже ловко подкатывала к свободному столу корзину, – тут вам смотреть не пересмотреть.

Я стал помогать выкладывать книги. Подборка была действительно обширная. Часть книг не поместилась, и я попросил оставить ее в корзине.

– У вас ведь несколько корзин? – Я не хотел, чтобы из-за меня библиотекарь таскала на руках тяжести другим посетителям.

– Ради вас – найдем.

Я улучил момент и галантно поцеловал ее сухую, шершавую руку. Одновременно с этим аккуратненько вложил в карманчик ее рабочего халата свернутую купюру. Не бог весть какого она была достоинства, но Валентине Петровне, я знал, уж точно не помешала бы.

– Ну, что вы, Вадичка, что вы! – Она зарделась от этого моего жеста и оглянулась – не видел ли кто. И вдруг, по-молодому повернувшись на своих маленьких кривых ножках, как-то подпрыгнула и убежала к себе в книжные закрома. А я занял место у окна и раскрыл первую книгу.

Композитор, что написал оперу, был по происхождению итальянец, но родился уже в Америке. Когда мне сделали предложение о постановке, сказали так: «Будем укреплять культурные связи. Он – молодой композитор, вы – молодой постановщик, и все исполнители тоже должны быть не старше двадцати пяти лет. Это окажется самая молодая постановка в мире! Вполне можно будет претендовать на то, чтобы ее занесли в Красную книгу».

«В Книгу Гиннеса?» – хотел переспросить я, но не сделал этого. Ясно, что человек, сделавший мне предложение, перепутал. А я пребывал в полном восторге от того, что для постановки выбрали именно меня. Я вовсе не хотел, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что мне не хочется работать. Мне на самом деле очень хотелось. Еще когда я учился в школе, бабушка и мама смеялись над каким-то политическим деятелем, который громко заявил, что ему «чертовски хочется поработать!». Теперь я понимаю, естественно, что дело, видимо, было в контексте, но тогда мне эти слова вовсе не казались смешными. Мне всегда хотелось сделать что-то особенное, удивительное, придумать что-нибудь, чтобы все меня похвалили, и в школе чтобы учителя изумлялись, как мне могло такое прийти в голову, а все наши ребята меня бы за это вдруг разом зауважали. Я еще тогда даже не представлял, кем мне хочется стать, но думал, что моя профессия обязательно должна быть связана с чем-то необычным, чем занимаются не все.

Я посмотрел на часы. Боже мой, уже четверть одиннадцатого!

Сценическую площадку мне дали для спектакля такую, что я даже не ожидал. Как говорилось в одном старом фильме, «дай бог каждому». Акустика тоже была вполне приличной. Единственный недостаток, что и оркестр, и солистов, и массовку – всех требовалось разместить на сцене. В театре не было оркестровой ямы, но это и не могло сильно испортить мои планы. Я уже решил, что оркестр соберу небольшой, и все, включая музыкантов, окажутся объединены одной концептуальной идеей. Оркестр у меня должен был быть военным. Он появляется на сцене на вращающемся круге. В начале первого действия музыканты разодеты по старой моде благородных южан, они играют мазурки и марши, они еще не чувствуют близость конца, и только протяжная песня одинокого африканца с плантациями звучит предвестником будущих страшных перемен. В середине спектакля – в последний бой под музыку уходит уже другая армия – печальная и готовая умереть, но не сдаться. Эти люди одеты уже в другое платье. Их форма изодрана в боях, а у многих вообще нет никакой формы. Но все-таки это еще армия, и я готов продемонстрировать это картиной. Люди стоят и сидят тесными ровными рядами, плечом к плечу. Звуки инструментов перекликаются друг с другом, как будто здоровые хотят поддержать раненых, а те, кто выжил, – утешить вдов павших. А вот ближе к концу спектакля вместо военного оркестра на круге появляются совсем уже другие люди – они идут не рядами, а маленькими группами или поодиночке. Они одеты по-дорожному и, кроме инструментов, волокут за собой чемоданы и саквояжи. Потом вслед за первыми выходят другие – в новень-

ких и нарядных, только что сшитых по последней моде одеяниях. Теперь звучит совсем другая музыка, символизируя приход нового времени, а появившиеся в оркестре чернокожие музыканты уже открыто играют джаз. И, наконец, возникает новый, все подавляющий танец. Это вальс. Он кружит людей в вихре нового времени, он морочит головы и заставляет по-другому смотреть на вещи. И под его звуки уже становится непонятным, на чьей стороне правда, в чем поражение, где победа. И только старый негр с его прежней унылой песней может служить печальным воспоминанием о тех, кто еще помнит. Вот такую музыку написал этот молодой итальянский американец, и я просто дьяволу готов душу отдать, чтобы мне со своей стороны не ударить в грязь лицом.

Я вспомнил лицо нашего художника по костюмам.

– Я предлагаю, чтобы актриса, поющая Скарлетт, во втором действии была в мужском костюме.

– Это когда она сама работает на плантации? – спросил я.

– Нет, то есть с плантации можно начать, хотя на плантации она может работать в платье, в каком ходят негры. Что-нибудь красное с широкой юбкой. А вот когда она уже заводит лесопилку, тут у нее должен быть уже совершенно мужской костюм.

– Смокинг или пиджак? – поинтересовался я.

– Это все равно. Хоть фрак. Не принципиально. Я лично рекомендую спортивный костюм и красно-белый шарф с надписью «Спартак».

– И что бы это значило? – Я постарался скрыть свою неприязнь. Мужской костюм – жилетка, шейный платок, рубашка со сменным воротничком – еще куда ни шло. В конце концов, если Скарлетт получает удовольствие от мужских занятий, с этим еще можно согласиться, но «Спартак»...

– А вместо свистка на грудь ей привесить символический фаллос в белом презервативе.

– С какого же это перепугу? – не выдержал я.

– А с такого, что если нам нужен скандал, то простым фраком его не добьешься.

– Нам нужен успех, а не скандал.

– Это одно и то же. Намек на оппозицию не может нам повредить.

В его усмешке сквозило столько презрения! Как ему было скучно объяснять мне, случайно попавшему в богемные круги провинциалу, такие охренительно простые вещи.

Он сидел, закинув с каким-то очередным странным вывертом одну ногу на другую, и смотрел не на меня, а в окно, разлепив смуглые веки только наполовину.

– Bravo! – сказал я. – Шарф «Спартака» и член в презервативе – это замечательный намек на оппозицию. Зае... сь! Как раз то, что обеспечит успех всей постановке. Ни голоса исполнителей, ни звучание инструментов, ни сама музыка, в конце концов, а только «Спартак» и презерватив.

Он пожал плечами с таким видом, будто считает бесполезным вступать в дискуссии со столь тупым человеком, как я. В дискуссии вступать не будет, а вот в ЖЖ распишет меня во всей моей тупоголовой красе. Закрываю путь к славе молодому гениальному художнику.

Вздыхнув, я вытащил с самого дна корзины толстый том «Мода и стиль». Должно же тут быть что-то и про Америку. Я начал листать с конца – глупая привычка. XX век. Прочь скучные девяностые, несуразные восьмидесятые... Это все было в моей жизни. Дальше назад – интереснее. Мамина молодость – семидесятые. Еще глубже – мини-бикини – «Бриллиантовая рука». Первые узкие брючки – конечно, французенки. Жанна Моро, Катрин Денев. Дальше пятидесятые. Вот и Америка – Кэтрин Хепберн. Сороковые, тридцатые – Марлен Дитрих. Двадцатые – Шанель. Первая мировая и до нее – совместные прогулки мужчин и дам на велосипедах. В глазах монокли, папиросы в длинных мундштуках. Европа была более продвинутой, чем Америка. Похоже, Скарлетт О'Хара ни до, ни после гражданской войны не могла носить мужской костюм. И в этом смысле спартаковский шарф будет выглядеть на сцене правильнее.

Уж если он символ – то получается более реальный, чем просто брюки и пиджак. И что же, я должен согласиться с этим типом?

Опять телефон. Я и забыл, что Алла молчит уже довольно долго.

– Что, Алла?

– Ты в самом деле приедешь только на репетицию? Но мне так нужно с тобой поговорить.

Борис сегодня обещал принести эскизы костюмов...

– Как раз это я сейчас и изучаю. Алла, пойди перекуси где-нибудь без меня. Я правда занят.

– Но, может, мы хотя бы вечером пообедаем? У меня сегодня один из немногих свободных вечеров...

– Я перезвоню.

Я отключился и тут же набрал номер телефона Нины.

– Вы... Как самочувствие? – Я пока не понимал, как мне удобнее к ней обращаться.

Голос у Нины был несколько не больной.

– Я сейчас на рынке, – сказала она. – Хочу соорудить тебе к вечеру потрясающий ужин.

– Но... – Этого я уж никак не ожидал. – А как же давление?

Она засмеялась.

– Я знаю, что непорядочно обманывать начальство и коллег, но сегодня воспользовалась этим в первый раз в жизни. Хочу тебя угостить. Ты ведь никогда не был у меня дома, хотя я тебя однажды приглашала. Ты, по-моему, тогда испугался. – Она опять засмеялась. – Но ты этого, конечно, не помнишь. Ты был тогда маленьким.

Я помнил. Это действительно было давно, курсе на третьем.

У Нины всегда было немного иронически-удивленное выражение лица, как будто она всю жизнь не переставала поражаться, что находятся еще, как она говорит, «полезные ископаемые», способные читать книги. Ископаемые – это понятно, говорила она, только неизвестно – действительно ли полезные? Меня она тоже относила к «полезным». Она вообще всему придавала свою индивидуальную окраску. Казалось бы, вся ее функция как работника – найти и принести нужную книгу. Ан нет, выдавая том, одним взглядом или ухмылкой, или каким-нибудь простым замечанием она давала понять, как относится к данной литературе. Знания у нее самой были энциклопедические. Раньше она значила для меня больше, чем Википедия сейчас, потому что студентом я только впитывал факты, а осмыслить их еще не мог. Для осмысливания нужен опыт, которого у меня, восемнадцатилетнего, еще не имелось. А Нина могла иногда с помощью одного вопроса или даже взгляда заставить меня задуматься. И еще она была тогда единственным человеком, который меня в Москве почему-то жалел. Я это чувствовал, и мне это совершенно не нравилось, и даже было как-то стыдно. В ее отношении ко мне чувствовалось уважительное снисхождение человека к муравью – за то, что муравей – маленький трудяга – все тащит и тащит свою ношу. Иногда в ее взгляде я читал сожаление. А о чем она сожалела, мне было непонятно.

Когда я учился на третьем курсе, Нина по моей просьбе стала подбирать мне материал для рефератов. Я приносил ей всякие мелочи – шоколадки, конфетки. Когда я приходил, в книгах лежали аккуратные закладочки – всегда то, что нужно. Несколько раз она приглашала меня в свой угол – в тот же самый, за стеллажами с книгами, и угощала пирожками из буфета. Там я узнал, что у нее есть дочь, девочка лет четырнадцати. Про мужа Нина Антоновна мне ничего не рассказывала, а про девочку сказала так:

– Хрюша порядочная. Надеюсь, что это пока. Если такой останется – можно спокойно повеситься.

Почему-то в те дни у меня возникло впечатление, что она пригласила меня домой познакомиться с этой девочкой. Я не пришел. Интересно, помнит ли Нина, как, вскоре после этого разговора, я затащил ее между стеллажами в том же самом тесном и темном углу библиотеч-

ного зала и там неистово обнимал. Наверное, она это помнит. От ее мягкой шеи пахло какими-то духами. Мы целовались молча, и мне запомнилось, как она закидывала голову и стукалась затылком о толстые фолианты. После этого случая я перестал ходить в библиотеку, а вскоре купил свой первый ноутбук. Стал скачивать из Интернета все подряд и не испытывал потребности в чьих-либо замечаниях.

Но года два назад, после того как с успехом осуществилась моя первая постановка, я снова зашел сюда – просто так, скорее даже из любопытства, чем по необходимости. О премьере тогда написали рецензии в трех-четырёх газетах, а я знал, что Нина Антоновна следит за «достижениями культуры». Вполне могло оказаться, что она уже и не работает в библиотеке, но когда я вошел в читальный зал, вдруг с непонятной мне самому радостью скорее угадал, чем увидел ее старую синюю кофту за стеллажами. И Нина, как мне показалось, тоже обрадовалась мне и удивилась. И с дочкой ее, кстати говоря, все образовалось. Дочка уехала к своему отцу. Я снова стал ходить в библиотеку и довольно неожиданно для себя с этого года стал в лицо называть Нину Антоновну Ниной.

– Записывай адрес, – сказала мне Нина. – Здесь недалеко. Обед будет обалденный.

– Я освобожусь только вечером. Пригласи меня на ужин.

– Я уже пригласила. Буду тебя ждать. – Я услышал гудки в своем айфоне, положил его рядом с собой и снова стал листать книгу, но ненадолго.

– Ты обещал перезвонить, – тут же по телефону напомнила мне Алла.

– Встретимся на репетиции. К сожалению, у меня не получится ни пообедать, ни поужинать.

– Очень жаль. – Голос у нее сейчас был точно как у Вишневской. Очевидно, Алла вспомнила, что она – будущая звезда.

– Борис собирается одеть меня в рубище, – заявила она трагически после недолгого молчания.

– В каком это смысле?

– В прямом. Домотканая рубаха, подпоясанная веревкой.

– Откуда ты знаешь?

– А я с ним завтракала. Он меня пригласил.

– Вот как?

– Вадик, он хотел узнать мое мнение о концепции постановки. Именно так он выразился. Я совершенно уверена, что Борис под тебя копает. Я думаю, он разговаривал и с другими. – Голос у Аллы смягчился и стал похож на голос заботливой мамы, разговаривающей с непослушным сынишкой. Не исключено, что именно таким общалась Вишневская с Ростроповичем.

– Ну, разговаривал и разговаривал. – Я почувствовал ужасное раздражение. – Что ты думаешь, всем нравятся его безумные идеи?

– Что ты называешь безумными идеями?

– То, например, что Скарлетт придется таскать на груди презерватив.

– Если она с этим презервативом поедет в Америку, очень даже понравится.

– Не обольщайся, дорогая. Америка – страна консервативная, никто вас с этими презервативами туда не возьмет. В лучшем случае отправитесь куда-нибудь в Жмеринку. Я сейчас смотрю историю брючного костюма – в Америке в приличные рестораны женщин в брюках стали пускать только в девяностые годы. Двадцатого, между прочим, века.

– Вадик! Для чего тебе история брючного костюма? – теперь Алла ворковала не хуже ее рингтонной арфы.

– А это секрет. Узнаешь на репетиции.

– Вадик, имей в виду, мне не идут брючные костюмы.

– Не беспокойся. В крайнем случае мы примерим рубище.

– Фу! Противный!

Я закрыл «Моду и стиль» и взял со стола очередной том.

– Вадик, как работается? Как мама? – спросила проходившая мимо Валентина Петровна. Мне захотелось кинуть в нее книгой.

– Все в порядке.

– Я думаю, вы замечательный сын.

– Надеюсь.

Этим летом я впервые в жизни не приехал в наш городок к маме даже на неделю.

– Как мне, Вадичка, приятно слышать, что вы не забываете вашу маму! А уж ей-то от вас, представляю, какая радость!

– Спасибо вам, Валентина Петровна.

Она вдруг растроганно клюнула меня в плечо и быстро отошла к своему столику. Я мысленно чертыхнулся и потер себе лоб.

Мама в детстве звала меня – «березовый мальчик». Потому что, как она говорила, у меня было редкое сочетание – волосы очень белые, а ресницы и брови темные, как на березовой коре горизонтальные черточки. Она называла меня «красавчик», а я своей красоты нисколько не ощущал, только чувствовал, что я не совсем такой, как все. Или, вернее, вел себя не так, как все. А потом в середине школы волосы у меня потемнели, и я вообще уже никакой оригинальностью во внешности не отличался. Правда, я единственный не только во дворе, но и во всем нашем классе, и во всей школе умел вполне прилично играть сразу на трех музыкальных инструментах – на скрипке, на фортепиано и на аккордеоне.

– Конечно, у него же мама в музыкалке работает, – презрительно пожимали плечами мальчишки.

Мама... Именно она тогда спасла меня от исключения из института и от армии, в которой со мной бы непременно что-нибудь случилось. Моя мама, скромная труженица, никогда при мне ни у кого ничего не просившая, с плачем тогда встала передо мной на колени, умоляя вернуться на занятия в институт. Встала не в переносном, а в буквальном смысле, чем меня сразила. Я дал ей тогда честное слово и даже поклялся, что не просто так поеду в Москву для того, чтобы ее обмануть, а самому болтаться черт знает где, вместо того чтобы учиться, а что действительно переступлю через свое самолюбие, разочарование и обиду и вернусь в институт. И буду там именно учиться, а не валять дурака. И что я также вернусь в общежитие, как бы трудно мне ни было там находиться вместе с Лехой.

– Потому что, – устало сказала мама, вставая с колен, – жизнь – это жизнь, и в ней трудности встречаются чаще, чем удачи.

И еще это нужно было потому, что деньги на еду моя мама еще могла бы заработать, а вот на съём квартиры – уже нет. И я тогда решил, что должен доучиться хотя бы ради нее и должен сам зарабатывать. Сложил свою сумку, и мама проводила меня на автобус. Я опоздал тогда на учебу на три дня, за что мне немилосердно досталось в деканате. И было это, я мысленно подсчитал, девять лет назад, именно четвертого сентября.

Я вытащил третью книгу – вторая не принесла мне пользы. Даже мысль о том, чтобы позволить этому рафинированному выскочке навязать мне свое видение спектакля, казалась отвратительной. Я должен поставить спектакль в классическом понимании. Другое дело, что никто не может, как говорили раньше, «ограничить полет мысли художника». Изменить трактовку самого образа, а не ошарашить зрителя голыми попами или пресловутыми презервативами. Пускай даже с политической окраской. В опере идет речь о войне между Южными и Северными штатами Америки. При чем тут наша политика? Естественная и общепринятая трактовка – борьба между экономически развитым Севером и отсталым рабовладельческим Югом. На фоне этого – судьбы героев. Две пары – двое мужчин и две женщины. И явное про-

тивопоставление – аристократы и дельцы. Естественно, что напрашиваются аналогии с нашим временем. Но только у нас-то – кто сейчас аристократы? А что касается дельцов... Только человеку с ограниченным примитивным воображением может прийти в голову мысль представить Скарлетт современной бизнес-леди. Она ведь не была владелицей строительной компании или сети магазинов. Скарлетт – всего лишь несчастная кокетка, сшившая себе платье из зеленых штор и готовая продать себя ради возможности выплатить налог за имение, чтобы не сдохнуть с голоду – самой, трем оставшимся на ее попечении неграм, двум детям и курице-подруге.

Вот эту курицу-подругу по имени Мелани и должна петь Алла. У Аллы замечательный голос. Даже странно, как она при ее небольшом уме может так мастерски владеть голосом. Ее тембр идеально подходит для партии Мелани. Но если исполнять Мелани как чистого, незамутненного ангела... Нет, слишком просто, таких людей и не бывает в жизни. Из этой роли можно извлечь многое... Я открыл ноутбук – мне, пожалуй, единственному во всем зале дозволялось пронести его сюда из раздевалки. Я включил без звука старый фильм. Смотрел его сотню раз, знаю каждый эпизод, каждый жест актеров. Дэвид Селзник, 1939 год. Преддверие новой ужасной войны. Девушки в роскошных платьях – юбки, как перевернутые чайные чашки, волнительно колышутся при каждом шаге. Может быть, тогда этот фильм был хорош. Теперь он меня не устраивает.

Алла просила у меня роль Скарлетт, как я подозреваю, именно из-за знаменитого пробега вниз со второго этажа по широкой лестнице. Самая эффектная сцена из всего фильма.

Я тогда сказал:

– Алла, не переживай. На нашей сцене лестницы не будет.

Она расстроилась.

– Почему?

Конечно, это же так красиво – сбегать вниз, в вестибюль, в роскошном зеленом платье с юбкой, напоминающей половинку земного шара.

– Мы должны сделать свое, Алла. Зачем нам подражать старому фильму?

Интересно, что нам предложит наш молодой гений для этой сцены? Зеленые паруса, символизирующие цвет глаз Скарлетт? Или голубые дамские корсеты вместо шелковых жилетов у мужчин?

Подумать только, этот ублюдок ходит и выспрашивает чье-то мнение! Какое он имеет на это право? Я разозлился, как черт.

Ладно, пусть Скарлетт обладает бешеным темпераментом бывшей комсомолки, выбросившей в помойку комсомольский значок и отправившейся в Турцию или Китай в первый поход за шмотками. Но Мелани! Женщина, которая прекрасно знает, что ее гораздо более красивая подруга на протяжении нескольких лет спит и видит, как увести у нее сначала жениха, а потом мужа. А ведь эта замечательная подруга не только мечтает, но и прекрасно претворяет в действие свои планы. Жертвами женского обаяния Скарлетт уже пали многие, обмануты в своих надеждах несколько родственниц и других подруг Мелани. И Мелани, когда ей говорят «поберегись!», смиренно отвечает:

– Нет, я не верю! Скарлетт не такая плохая, как вы о ней все думаете! Скарлетт приближает к себе моего мужа не потому, что хочет его увести от меня, а потому, что из благородства хочет дать ему работу!

Ну кто сейчас поверит в эти бредни!

– Молодой человек! Почему вы пронесли ноутбук в читальный зал? Это не разрешается!

Я поднял глаза – передо мной стояла молодая женщина со злым лицом и холодными глазами.

– Извините, пожалуйста. Я просто не знал, что ноутбуки нельзя проносить.

Я не хотел подводить Валентину Петровну.

– Анечка, он ничего не сделает. Это же, ты разве не знаешь... – Валентина Петровна уже сама бежала к нам на своих маленьких кривеньких ножках.

– Если нельзя, я могу отнести в гардероб...

Молодая и злая внимательно смотрела на меня и слушала, что шептала ей на ухо Валентина Петровна. Очевидно, она просвещала, какой я молодой и талантливый и уже лауреат...

– Ну хорошо... – молодая взглянула на меня с любопытством и отошла.

– Я правда мог бы отнести. Мне сегодня не критично.

Валентина Петровна подмигнула мне, мол, все в порядке.

Какая действительно простая штука жизнь! Маленькая купюра, сложенная пополам, дает возможность порефлексировать в то время, как пожилая женщина суетится возле книжных полок, собирая тяжелые тома энциклопедий и словарей, для того чтобы удовлетворить мое любопытство. Надо будет перед уходом подойти попрощаться и поцеловать Валентине Петровне руку. Я криво усмехнулся. Этому приему меня научил не кто иной, как Леха. Собственно, он не учил, я однажды увидел, как он поцеловал руку Таниной бабушке, и запомнил этот его жест на всю жизнь. А случилось это в тот единственный раз, когда мы вместе с Лехой были у Тани в гостях. Больше он со мной вместе к ней не ходил, и я до сих пор не знаю – ходил ли он без меня или нет. Но я тогда сразу понял, что за один этот поцелуй Леха понравился Таниным родственникам больше, чем я за целых полгода моих застенчивых визитов к ним в дом.

– Вот это кавалер! – громко произнесла Танина бабуля, а в мою сторону даже не посмотрела. И я, возмущенный и разочарованный этой очевидной несправедливостью ко мне, вылетел тогда из их квартиры на лестничную площадку и трясся там от обиды, в то время как Леха еще долго о чем-то шептался в прихожей с Таней.

Пятая книга мне тоже ничем не помогла. В шестой я случайно наткнулся на черное платье Шанель. Платье для коктейля. Ненавижу женщин, одетых по моде начала двадцатых годов. Или это у меня устойчивый образ постреволюционных дамочек? Платье с заниженной талией, губы как в немом кино, глаза словно у тифозных больных. И везде черный атлас. Смокинги у мужчин, вечерние платья у женщин. Таня тоже любила черный цвет. На первом курсе она ходила в черной шляпке с маленькими полями. Эту шляпку ей сделала мама. Стилизация под мужской котелок. Ее мама, бывшая портниха, в то время держала небольшое ателье верхней одежды. Прямо Шанель московского разлива. И у Тани еще тогда было черное узкое пальтишко до колен. Она мне такой и запомнилась – маленькая, худенькая, смешные мальчишечьи полуботинки и шляпка. А под шляпкой – темная челка до самых бровей и удивленные яркие синие глаза.

Я сложил книги стопками на столе.

– Валентина Петровна, пусть полежат. Если я завтра не приду – унесите. Что-то мне сегодня не очень работается.

– Бывает, Вадичка! Не беспокойтесь, все будет на месте!

– Что бы я без вас делал, Валентина Петровна! – Я поклонился ей галантно, как мог, и подал ей руку, чтобы она вложила мне свою.

– Ой, Вадичка! – Она, как всегда, хихикнула. Мне захотелось щелкнуть каблуками, жаль, туфли были неподходящие – мягкие замшевые мокасины. Я взял ее руку, с мрачным удовольствием вспомнив Леху, и аккуратно поцеловал. В этом деле, как мне однажды объяснила Нина, важно не оставлять на руке влажных отпечатков губ. Нине я тоже однажды попробовал поцеловать ручку. Я тренировался тогда на всех – нужно было отработать движение до автоматизма.

– Лучше не руку, – говорила Нина. – Когда мужчина в наше время склоняется над рукой женщины, возникает *когнитивный* диссонанс. Неприятное чувство – он явно от тебя чего-

то хочет. Чаще всего это такой намек на продолжение отношений – и далеко не всегда эти отношения связаны с личной симпатией.

– Артисты часто целуют руки дамам.

– Конечно, это же лучше, чем мыть дамам ноги, – скептически заметила она. Я фыркнул. Она посмотрела на меня внимательно.

– Лучше поцелуй меня в щеку. Ты маму в щеку целуешь?

Я задумался. Я вообще, мне кажется, маму не целовал. И она меня целовала редко. Наверное, чаще тогда, когда я уезжал. И действительно, чаще всего в щеки. Я наклонился и поцеловал Нину в губы. Это было тоже в сентябре. Кажется, на следующий день или через день после того, как похоронили Таню.

Сейчас, когда я уже шел к выходу из библиотеки, я подумал, что щеки, наверное, самые уникальные места человеческого тела – они загораются от стыда и похвал, они бледнеют от ужаса, их целуют мамы и по ним бегут слезы. И еще, когда я садился в машину, я отметил, что этот чертов старый Лехин «Форд» не годится моей машине даже в подметки.

Когда я вошел в театр, навстречу попала пара девочек из хора.

– Вадим Сергеевич, где будет репетиция?

Я хотел сегодня собрать труппу не на большой сцене.

– Скажите всем, что в малом зале. И рояль там расчехлите.

Они посмотрели на меня, как мне показалось, с обожанием и убежали. Борис появился из буфета в коротеньком светлом плаще с огромным, как-то по-хитрому пришитым воротником. На плече у него висела папка, в которой он носил эскизы. Папка была, естественно, тоже с наворотами. Он подошел и лениво протянул мне руку. Когда я пожимал ее, то зафиксировал, что мы оба не смотрим друг другу в глаза.

– Где состоится богослужение? – спросил он с издевкой и тут посмотрел прямо на меня. Глаза у него были серо-зеленые в крапинку и опущенные темными мохнатыми ресницами, как у ослика, который катает детей в зоопарке в смешной тележке.

– В малом зале ровно в два, – сухо сказал я и тоже отправился в буфет.

– Сосисочку, Вадим Сергеич, или рыбку в кляре? – завидев меня, улыбнулась буфетчица.

– Какая рыба?

– Какую привезли. Треска, наверное. – Она сделала вид, что пытается рассмотреть, что написано на упаковке.

– Давайте сосиски.

Я сел к окну, недовольный собой. Вроде бы день начинался неплохо, а все время с каждым часом меня засасывает какая-то незначительная муть. Какие-то звонки, посторонние мысли, несущественные люди, что вторгаются в твою жизнь. Некогда подумать. Невозможно сосредоточиться. И с каждым годом это засоряет меня все сильнее. Вот сейчас: я сижу за столиком в буфете и вроде бы должен думать о предстоящей репетиции, об обсуждении костюмов. Нет, я размышляю вовсе не об этом. Я думаю о том, почему я решил, что буфетчица только сделала вид, будто хочет прочитать то, что написано на упаковке. Но почему я сразу подумал про нее плохо? А может быть, она действительно хотела узнать, что там за рыба находится внутри этого кляра, а вовсе не делала вид. Или, может быть, ей самой наплевать на рыбу, но она хотела просветить меня на этот счет, раз я спросил... И потом, а зачем я ее вообще спрашивал о рыбе? Ведь я не собирался ее брать, какая бы она ни была. Я ведь уже нацелился съесть сосиски. И самое главное – зачем я вообще об этом думаю, ведь вечером я все равно буду ужинать у Нины...

– Горчичку возьмите, свеженькая.

Горчица действительно оказалась «вырви глаз». Это немного привело меня в чувство.

– Вадим Сергеевич!

Телефонный рингтон арфой разливался прямо за моей спиной. Я обернулся – Алла сегодня была «в форме». Красное платье с внушительным декольте сидело на ней как влитое.

– Алла, ты ничего не перепутала? Своим потрясающим видом ты будешь сбивать партнеров. Мелани, по всеобщему признанию, – серая мышка.

– Вадик, я не хочу быть серой мышкой! – это она прошептала мне на ухо, наклонившись ко мне как можно ниже.

– Вот сегодня мы это и решим, – ответил я тихо. – Хочешь есть?

– Не хочу. Я ведь завтракала. К тому же почему-то волнуюсь.

– Принесите чистую тарелку и еще две сосиски, – посмотрел я в сторону буфетчицы.

– Ну я же сказала, не надо! – Алла сверкнула на меня потрясающе накрашенными глазами.

– Так нести или не нести? – переспросила буфетчица.

– Не нести, – отменил я новый заказ и медленно разрезал последнюю сосиску на собственной тарелке.

– Вадик, без семи минут два! – Алла сидела вся в струнку, будто напряжинившись. Вот сейчас поднеси порох – и взорвется.

– Иду. Только выпью кофе.

– Вадик, ну сколько можно есть! – Алла не выдержала, воровато оглянулась по сторонам, убедилась, что в буфете, кроме нас и буфетчицы, никого нет, схватила двумя пальцами последний кусок сосиски с моей тарелки, запихнула его в рот и почти побежала к выходу.

– «Ну, вот сейчас и начнется бой, – подумал я, допивая кофе. – Хрен бы я позволил тут рассусоливать перед всей трупной этому ублюдку, если бы не боялся тех, кто за ним стоит».

Когда я вошел, все уже были в сборе. Сидели полукругом на зрительских местах и держали в руках ватманские листы.

Значит, Борис уже раздал эскизы и даже меня не стал дожидаться. Хотя прекрасно знал, что я в театре.

Я взглянул на часы – была одна минута третьего.

– Мы уже начали, – небрежно сказал Борис, но в тоне его я все равно почувствовал скрытое напряжение.

– Ну что же, отлично. Познакомьте теперь и меня с вашим творчеством. – Я взял стул и сел в центре, лицом к артистам. Выражение их лиц было примерно одинаковым. «Мы вообще не понимаем, что это такое, но если вы скажете, что так надо, значит так и надо». Я взглянул на Аллу – она сидела с краю около бокового прохода. Лицо ее было озадаченным – Алла прикусила нижнюю губу и, казалось, что-то обдумывала. Борис разместился в первом ряду, как всегда, нога на ногу, у него сегодня был один оранжевый шнурок, а второй – зеленый.

– Давайте листы! – скомандовал я.

Люди стали передавать друг другу эскизы, и белые прямоугольники ватмана поплыли по рядам. Борис сидел, как будто его все это вообще не касалось. Певец, исполняющий партию Эшли, собрал все листы и принес их мне.

– Замечательно, – я сложил бумагу в пачку и стал по очереди смотреть, раскладывая вокруг себя на полу. По мере просмотра грудь мою распирало все больше, а кровь стала приливать к голове. Застучало в висках, и я едва справился с желанием расшвырять всю эту мазню по залу, а лучше бы запустить ее в голову художника.

На первом же листе была изображена огромная веревочная лестница, на которой, цепляясь за ступени, группами, как гроздь винограда, весьма живописно располагались девушки. Они стояли или сидели, практически на весу, все в пышных платьях, а мужчины находились под ними на сцене и за овальным столом играли в карты. Лестница, как я понял из рисунков, должна была раскачиваться прямо над головами мужчин под сильными напорами ветра. Естественно, ухмыльнулся я. Постановка ведь называлась по классическому варианту: «Унесенные

ветром». Певицы, исполняющие партии Мелани Уилкс и Скарлетт О'Хара, стояли, обнявшись на веревочных перекладинах, как матросы на рее. Исходя из концепции, я опять не мог сдерживать ухмылку, к концу спектакля обеих, по логике Станиславского, должны были бы на этих реях и повесить. С другой стороны от Мелани и Скарлетт в непринужденных позах расселись их подружки и родственницы, а выше всех забрались их чернокожие служанки – негритянки. Не намек ли это на что-нибудь?

– Борис Витальевич, а страховочные пояса предусмотрены? – с невинным видом поинтересовался я. – И еще вопрос: а девушки поднимаются по лестнице или, наоборот, спускаются?

– Это зависит от мизансцены, – невозмутимо посмотрел на меня Борис. – Лестница, как вы понимаете, это переход из одного мира в другой. Своеобразный портал. От довоенной действительности к новому времени. Лестница может быть расположена как вертикально, так и горизонтально.

– Как же по ней передвигаться в горизонтальной плоскости?

– На коленях.

– На коленях, должен заметить, очень неудобно петь.

– Если неудобно, – почесал кончик тонкого носа Борис, – то можно расставить исполнителей так, чтобы они вставали с колен на то время, пока поют, а потом опять опускались.

– А-а-а, понятно. – Я сделал небольшую паузу. – А что думают по этому поводу исполнители?

– Прикольно, наверное, будет, – сказал задумчиво кто-то, кого я не разглядел во втором или третьем ряду.

– Ну вот видите, – стараясь казаться спокойным, сказал я. – А вы, Алла Юрьевна, расстраивались, что лестницы у нас нет. Вот вам и лестница. Бегайте теперь по ней в роскошном платье сколько угодно.

– Роскошных платьев не будет принципиально, – Борис сидел и спокойно грыз ноготь. – Девушки ведь не принцессы, а всего-навсего дочери плантаторов. И живут они не во дворцах, а в простых домах. Семьи их вовсе не обязательно богаты. И шикарные платья Скарлетт в старом американском фильме – это просто дань публике, которой хочется, чтобы сделали «красиво». И если уж на то пошло, Мелани Уилкс должна быть одета лучше Скарлетт. Она ведь аристократка и, кроме того, живет в городе, в Атланте, а не на плантации, как Скарлетт. Вы согласны со мной, Алла Юрьевна?

– Согласна, – ответила Алла, и я заметил, что щеки ее слегка покраснели.

Я перевел взгляд на Надю. Надежда Николаевна – певица, исполняющая роль Скарлетт, была чуть старше и опытнее Аллы. Нет сомнений, что она справится с ролью превосходно. Она думала так же, поэтому сейчас и сидела с весьма нейтральным видом. Мол, я свое дело знаю, и что бы вы ни напридумывали, моя партия все равно останется главной. А все остальные технические вопросы мы решим по мере их поступления.

Я перебирал эскизы один за другим. Вот вернувшийся с войны Эшли помогает Скарлетт и неграм собирать урожай, а в прорези брюк у него прикреплен похожий на фаллос кукурузный початок. Вот Скарлетт вместо лошади тащит Мелани с грудным ребенком в повозке. Под каким-то сооружением, смутно напоминающим мост, они останавливаются, и Скарлетт обнимает Мелани так, как обычно мужчины обнимают и целуют женщин. В сцене, когда женщины ждут своих мужей, отправившихся на расправу в костюмах Ку-клус-клана, уже вся компания тесно прижимается друг к другу, а после того как Скарлетт пытается соблазнить мужа Мелани прямо на лесопилке, компания распадается. Мелани и Скарлетт, нежно обнявшись, как бы находятся по одну сторону баррикады, а свора негодующих и обиженных теток – по другую.

– Что они все время обнимаются? – спросил я. – Они что, все лесбиянки?

– Конечно. Это же естественно, – элегантно развел руками Борис. – Когда мужчины на войне, женщины сплываются и начинают любить друг друга. Мелани – без сомнения лесби-

янка. Она влюблена в Скарлетт. Двух мнений тут быть не может. Я просто удивлен, что этого никто не заметил до меня. Впрочем, может быть, и заметили, но просто играть это было нельзя.

– А сейчас – можно, – глубокомысленно заметил я, исподтишка поглядев на Аллу. Алла смотрела на Бориса во все глаза.

– А иначе чем можно объяснить всепрощенческое отношение Мелани к Скарлетт? – закончил Борис.

– Это вы меня спрашиваете? – повернулся я к нему. – Или Аллу Юрьевну?

– Я не спрашиваю. Я утверждаю.

– Ага. – Я аккуратно сложил листы и отдал их Борису. – Так вот что я хочу сказать. Обсуждать мы это не будем, потому что это все – не пойдет. Бориса Витальевича я прошу пересмотреть свою позицию.

Все молчали. Борис в его привычной манере прикрыл веки и отвернулся к закрытому шторой окну. Я встал и походил туда-сюда вдоль первого ряда.

– А теперь я хочу сказать о трактовке образа Мелани. Сказать всем, а не только исполнительнице этой партии, потому что это очень важно для всех. – Боковым зрением я увидел, как напряглась Алла. Другие тоже слушали внимательно, и только Борис не изменил выражения лица, зато Надежда, поющая Скарлетт, вопросительно и с неудовольствием повернула ко мне голову.

– Все однозначно привыкли считать образ Мелани вторичным по отношению к Скарлетт. – Надежда напряглась и нахмурилась. – Но я хочу вам представить другую Мелани.

– Вы снимаете Аллу Юрьевну с роли? – вдруг быстро спросила еще одна певица. Ей в нашем спектакле досталась тоже неплохая партия, даже с комедийным оттенком – служанки Присси, но актриса, я не сомневался, с удовольствием поменяла бы ее на что-нибудь более романтическое.

– Кто это сказал? – с возмущением приподнялась на своем сиденье Алла.

– Успокойтесь все. Состав исполнителей остается неизменным. Так вот, перед нами в начале действия две девушки – Мелани и Скарлетт. Они обе влюблены в одного мужчину, обе хотят выйти за него замуж. Но если одна из них глупа и отчаянна до прямодушия, то вторая... Так ли уж проста Мелани, как нам ее всегда представляли?

Я обвел взглядом артистов, все смотрели на меня, и только та, что играла малышку Присси, шевелила вслед за мной губами, очевидно входя в свою роль дворовой дурочки.

– Разве у Мелани нет глаз? – я сделал выпад рукой в сторону Аллы. – Разве Мелли так глупа, что не может сопоставить свои весьма скромные внешние данные и бьющую в глаза красоту Скарлетт?

– Конечно может! – восторженно прошептала в полной тишине Присси.

– Прошу не перебивать меня.

– Ой, извините! – Присси спрятала мордочку за спинкой переднего сиденья.

– На что же тогда надеется Мелани? На безусловную порядочность своего жениха? Но ведь ее жених признается Скарлетт в любви. Почему об этом все забывают? Пусть он должен скрывать свои чувства к Скарлетт, но ведь любовь по-настоящему все равно трудно скрыть. Любовь – это такая противная тварь, она... – я улыбнулся и обвел взглядом труппу, – постоянно вылезает из всех щелей. Она, если хотите, как Присси. Любовь – везде. Она всегда чувствуется. Разве вы не замечали, что если в комнате находятся двое влюбленных, остальные выглядят пресно в сравнении с ними. Взгляды, улыбки, мимолетные словечки... Сговоренная невеста Мелани не может не чувствовать, что все это богатство влюбленного относится не к ней. И это видят все до служанки! Поэтому постоянно и судачат о Скарлетт.

Артисты смотрели на меня во все глаза и молчали. Я прошелся взад и вперед и начал снова.

– Вы только представьте, мужчина любит одну женщину, а должен жениться на другой. И он женится в конце концов на другой. Но никто не сможет меня убедить в том, что мужчина, какой бы порядочный он ни был, женившись без любви, будет относиться к своей жене так же, как к той, которую у него отняли обстоятельства. Да никогда! В противном случае он не мужчина.

– Он – женщина, – вставил тогда, явно издеваясь надо мной, Борис.

– А вы не смейтесь! – рявкнул я в его сторону.

– И что из всего этого следует? – спросила вдруг Надежда-Скарлетт.

– Для вас – ничего. Для вас ровным счетом ни-че-го не меняется. Скарлетт остается Скарлетт в любых обстоятельствах. Завтра будет новый день, и все такое. Глупая самоуверенная красавица, поставленная жизнью в условия необходимости добывать кусок хлеба или майсовой лепешки. В двадцатом веке, в начале девяностых такие девушки шли в проститутки или ездили за шмотками в Турцию и Китай. Меняется не Скарлетт, а Мелани! – я описал рукой плавную дугу и снова сделал разворот в сторону Аллы.

– Вы чувствуете, к чему я клоню, Алла Юрьевна?

Алла промолчала, уставившись в пол.

– Я это очень хорошо чувствую! – снова сказала со своего места Присси.

– Поймите вы все! – Я уже стоял и размахивал руками, как на митинге. – Мелани вовсе не ангел! Она просто очень умная женщина. Совершенно некрасивая, но умная до гениальности. И я не сомневаюсь, что она действительно со всей страстью любит Эшли – своего жениха, человека, предназначенного ей традициями и судьбой. Конечно, она не собирается его никому уступать – он дан ей Богом. Но как его удержать? Маленькой серенькой мышке Мелани, про которую все говорят, что она очаровательна *душевной* красотой! Боже ты мой, как мало на свете мужчин увлекаются именно таким видом красоты! По-моему, таких мужчин вообще не бывает. В конце концов, анекдоты никогда не врут! – Тут я сделал эффектную паузу.

– Какие анекдоты? – Малышка Присси услужливо спасовала обратно мяч.

– Какие анекдоты... У мужчины спрашивают, какую женщину он бы хотел взять в жены? Умную или добрую? Он отвечает: «Ту, у которой грудь больше!»

Мне показалось, что все, кто сидел сейчас в зале, исключая Бориса, тут же посмотрели на декольте Аллы. Присси хихикнула.

– Но мы отвлеклись, – я снова соорудил очень серьезное лицо. – Что следует сделать Мелани, чтобы удержать при себе мужа? Следует ли ей, так же, как и всем этим курицам – ее подругам, все время нападать на Скарлетт, особенно в присутствии Эшли? Разве такое поведение понравилось бы ему? И Мелани, у которой есть главное достоинство – ее ум, все время приближает к себе Скарлетт. Стремится быть всегда по жизни рядом с ней. Пусть лучше муж видится со Скарлетт у нее на глазах, чем где-то еще. Мелани вовсе не добрый ангел. Мелани – дипломат, Мелани – боец, и ради конечной победы она закрывает глаза на многое. Подумайте, разве Мелани так уж благородна? Ведь она не может не знать, что ее «дорогая сестра» любит Эшли до умопомрачения. И не может не знать, что и Эшли любит Скарлетт. Не может не догадываться об этом – ведь ей наверняка донесли об этом все эти многочисленные кумушки, которые обожают посудачить. Ведь Скарлетт и Эшли не скрывались. Они встречались в своем тесном кружке плантаторов, гуляли, разговаривали, ездили верхом... Наверняка это наблюдали десятки глаз! И вот я думаю про Мелани: ну если ты такая благородная, если ты такой уж добрый ангел, как о тебе говорят, отпусти два любящих сердца. Отойди в тень, позволь влюбленным соединиться. Ведь нет! Мелани мертвой хваткой вцепляется в своего мужа. Она клянется Скарлетт в вечной любви, она называет ее сестрой, она уверяет всех, что до гроба будет благодарна Скарлетт, но не уступит Эшли своей дорогой сестре. Она даже закрывает глаза на то, что кто-то говорит ей, что видел, как Эшли и Скарлетт целуются в укромном местечке. Подумаешь, поцелуй! Поцелуй – еще не катастрофа. Катастрофа будет, если Эшли уйдет от нее

навсегда. Вот чего боится Мелани. И тогда она начинает главную игру в своей жизни. В этом ее ошибка. Чтобы привязать к себе мужа еще крепче, она поступает точно так, как поступают многие женщины. Она решается на вторую беременность, несмотря на категоричный запрет докторов. И даром это ей не проходит – беременность заканчивается катастрофой, Мелани умирает. Но ведь она даже перед смертью не прекращает своей игры. Ей неприятно думать, что Эшли достанется Скарлетт. Кому бы он ни достался – лишь бы не сопернице, с которой Мелани вела тайную войну десять лет. И в каком положении оставляет Мелани Скарлетт? Так спрашивается, одержала ли Мелани победу над Скарлетт? – Я стоял посреди зала и смотрел на озадаченные лица моих слушателей. – Одержала или нет?

Они все молчали.

Я взбеленился.

– Послушайте, я что-то говорю непонятное? В каком положении ушла со сцены Мелани? Всеми любимая, всеми оплакиваемая. Муж на коленях просит прощения, и даже самый главный насмешник и циник называет ее «настоящей леди». А в каком положении остается Скарлетт? Скарлетт вдруг бросили все – все, кто когда-то ее любил. Скарлетт – одна. Она стала брошенной женой, презираемой обществом, и ее обожаемый Эшли вдруг тоже внезапно сваливает в кусты. Она – одна-одинешенька в целом мире. И это пресловутое «завтра будет новый день» – мольба к самой себе, единственное средство самозащиты. Неужели здесь что-то непонятно? – Я простер руки к залу. – Мелани погибла, но победила. Вот победительницу Мелани нам и надо играть.

– Но ведь Скарлетт в самом деле спасла Мелани, когда они уезжали из осажденной Атланты, – вдруг невпопад сказала Алла.

– Да, спасла. И что? – Я почувствовал раздражение: уж Алла могла бы играть на моей стороне. Ведь я же стараюсь, расцветиваю не чью-нибудь, а именно ее роль.

На лице Аллы появилось скептическое выражение.

– Но Мелани не притворяется, она и в самом деле по гроб жизни должна быть благодарна Скарлетт за спасение, – говорит она.

– А в чем здесь противоречие? – не понял я. – Благодарна – да. По гроб жизни – да. Мелани и показывает свою благодарность. На словах. А на деле? Да, Скарлетт ходит вокруг чужого мужа, как кошка за мышью, но и Мелани ей не уступает. «Ах, дорогая! Это так замечательно, что ты даешь Эшли работу!» Что, Мелани, не знает, что ее муж может принести Скарлетт одни убытки? Она специально провоцирует свою «дорогую подругу». Ах, тебе нравится общество моего мужа? Пожалуйста, убедись, какой из него никчемный работник. Что, ты хочешь еще? Ах, ты еще платишь ему деньги? Ну ради бога, очень хорошо! Плати и терпи убытки. А что касается бегства из Атланты... – Я принял задумчивый вид. – Тут я несколько не сомневаюсь, что если бы судьба поменяла их местами, то и Мелани точно так же спасла бы Скарлетт. В этом своеобразный кодекс чести того времени. Но интересно, что мы все привыкли думать, будто Скарлетт спасла Мелани из-за того, что это Эшли поручил ей заботиться о его жене (кстати сказать, весьма спорная просьба – просить женщину, которую любишь, взять на себя заботу о другой женщине, на которой женился). Однако мы как-то забываем или не принимаем во внимание, что Мелани цеплялась за Скарлетт из последних сил – не отдавать же ей соперницу в руки мужа без боя. И потом, уже после войны, разве это не хитрый дипломатический ход – всегда и во всем защищать Скарлетт? Пусть Эшли видит, какая Мелани благородная, какой она ангел. Мелани прекрасно защищает себя, прекрасно выстраивает отношения со всеми. Но ведь она, по сути, ведет себя как рыба-прилипала. Зачем ей ругать и подстигивать своего неумеху-мужа и портить тем самым его впечатление о себе, когда можно просто воспользоваться предложением Скарлетт и сесть всей семьей ей на шею? И все время держать Эшли под контролем, стать влиятельным членом женского общества Атланты, полным отсутствием кокетства добиться расположения буквально всех окружающих ее женщин, простить

мужу все – неумение зарабатывать, склонность к бессмысленному философствованию, членство в обществе Ку-клус-клана и, самое главное – его нелюбовь к ней как к женщине, все ради одного – удержать! Любой ценой! Нет, Мелани не ангел. Мелани – тонкий политик, великолепно умеющий играть душами людей. И вот такую Мелани должны показать и мы.

Я ожидал аплодисментов. Захлопала одна Присси.

– Но это все невозможно показать в рамках моей партии, – с сомнением произнесла Алла. – Это слишком тонкая трактовка образа. Может быть, она хороша для фильма или для пьесы, но для оперы...

– А что, в опере мы привыкли все показывать прямо в лоб? Думать мы уже не хотим? И заставить зрителя задуматься – тоже слишком сложно? – Я разъярился. – Мы что, уже разучились играть? Или не научились? Ну да, конечно, куда как проще напялить на ухо презерватив, в штаны вложить кукурузный початок и выставить двух женщин-соперниц, готовых жизни свои положить за одного мужика, лесбиянками. Но зачем тогда останавливаться на нашей постановке? Давайте сделаем такие же акценты, как и в классическом балете. «Лебединое озеро», например. Одетта и Одиллия танцуют обнявшись. Или «Щелкунчик». Маша любит принца, а принц – Мышиного короля. Чего уж проще? И думать не надо. Тем более, что и сам Петр Ильич тоже был... Но если вы думаете, что все это очень оригинально и принесет нашей постановке успех – вы ошибаетесь. Ни фига это никакого успеха не принесет. Подобные вещи делались не раз. Они уже всем надоели. Нет, главная моя идея в том, что Скарлетт должна выступить несправедливо наказанной за все ее добрые дела. Мало ли о чем она думала по своей глупости и легкомыслию, но делами своими она спасала. Давала жизнь, кров, деньги, еду... Разве это так мало? А все, что она хотела, – только соединиться с человеком, которого любила. А ее наказали, по-моему, слишком жестоко...

Надежда-Скарлетт вдруг вставила слово:

– Как же, Вадим Сергеевич, вы говорите, что новый взгляд на Мелани не изменит трактовку образа Скарлетт? Делая Мелани хитрой и изворотливой, вы заставляете и Скарлетт принимать удар, изворачиваться в ответ.

– Нет, дорогая Надежда Николаевна! Заманчиво было бы, конечно, представить взаимодействие Мелани и Скарлетт в виде борьбы двух офисных красавиц, но антураж не тот. Не подходит. Вам нужно просто сыграть Скарлетт наивной дурочкой. Вот она любит – и все! Хоть ее убейте! Все должны простить ее за то, что она любит. Потому что во имя этой любви она невольно сделала много хорошего.

– А я не согласен с Вадимом Сергеевичем, – вдруг обратил ко мне свою птичью башку Борис. Он даже ноги раскрутил и неожиданно сел не как обычно, развалясь, а выпрямился, как столб. – Все, что он тут нам рассказал, годится для размышлений в бложке livejournal, а не для постановки в театре. Ну как вы намерены показать зрителю, что Мелани, оказывается, большой дипломат? Как вы это представляете? Какими изобразительными средствами я должен оперировать?

– А как двигалась, разговаривала, пила чай Элеонора Рузвельт? Или Хилари Клинтон? Или Надежда Крупская? Вот так и нужно сыграть Мелани. Что-то среднее между всеми этими женщинами. Голосом сыграть. Жестами, фигурой, взглядами... Или мы боимся, что у нас это не получится?

– Получится! – выпалила Присси.

Алла молчала. Молчала и певица, исполняющая Скарлетт. Но если у Аллы вид был растерпанный, то у той губы сошлись в решительную тонкую полоску.

– А я, пожалуй, поддерживаю трактовку Вадима Сергеевича, – вдруг сказала Надежда-Скарлетт и взглянула на Аллу. Но взгляд у нее был ох какой недобрый.

В случае неудачи у нее беспроектный вариант, подумал я. Все равно все шишки падут на меня и Мелани. Вот только если Алла ее перепоеет ...

Но я не хотел конфликта между исполнительницами главных партий. Скарлетт все равно будет по-прежнему на первом плане. Мне хотелось подтянуть до уровня Скарлетт Мелани. Пусть новая психологическая окраска придаст классическому и всем известному сюжету остроту.

Но все слушатели сидели с видом невеселым. Борис встал и без моего разрешения вышел из зала. Делать было нечего. Первый бой я не проиграл, но и не выиграл. Продолжим после перерыва.

– Перерыв пятнадцать минут, – объявил я. – После чего будем репетировать. Рояль готов?  
– Готов, – пропищала, сложив ручки рупором, неугомонная Присси, и все разошлись.

Эта опера была моей пятой постановкой. Хорошо, когда везет в мелочах, но лучше, когда везет в главном. Удивительно, но мне повезло! Я сам не ожидал. На пятом курсе для дипломной постановки я выбрал ораторию с двумя прекрасными вокальными партиями – женской и мужской. К ним добавил еще актрису с мелодекламацией и пригласил несколько ребят для пантомимы. Ну и, само собой, хор. Мне, правда, здорово повезло. В этот год был юбилей нашего института, и на выпускные спектакли пригласили журналистов. Одной журналистке понравилась моя оратория. Я, конечно, закрепил успех – сначала пригласил ее в ресторан, а потом она приглашала меня домой. Она была очень неплохая девчонка, эта журналистка, и, по-моему, я ей тоже понравился. Вот только однажды, когда она сказала, что за прекрасную рецензию я вообще-то должен бы заплатить, но она не хочет денег, а хочет поехать со мной в отпуск, я сделал ей подарок – сводил в ювелирку, и больше не звонил. Вообще-то я думал, что она, может быть, станет мне гадить, но нет. Она просто перестала про меня писать. Позвонить, что ли, ей перед премьерой? Конечно, у меня теперь есть человек, отвечающий за пиар, но, я думаю, она не откажется прийти...

После оратории я организовал в Подмосковье несколько концертов для ветеранов. Ветераны – молодцы, написали благодарственные письма в газету. Потом меня пригласили организовать детский фестиваль на Рождество – как бы одновременно исполнение церковной католической музыки и вместе с тем – конкурсы рисунков – что-то вроде «День рождения Бога», сюда же поездки к детям-инвалидам и выступления детских ансамблей – все дети, как один, с золотистыми кудряшками и в платьицах с крылышками. Церковному начальству понравилось, впрочем, как и другой детский праздник, который я организовывал в чисто русской традиции в Коломенском. Частушки, катание на тройках, ходьба на ходулях и постановка фрагментов из «Купца Калашникова» на высоком берегу Москвы-реки в декорациях вновь возведенного терема привлекли широкое внимание не только публики, но уже и московского начальства. Впрочем, «купец Калашников» был действительно хорош. Мне самому нравился. Я сделал его кем-то вроде Риверы – был такой герой у Джека Лондона в рассказе «Мексиканец». Заманчиво вообще было одеть его в боксерские трусы или в нацистскую форму – по традициям современного театра, но я не пошел по этому простому пути. Купец был русский. Только не дюжий молодец, косая сажень в плечах, кудри до плеч и сапоги со шпорами, а худенький такой, невысокий молодой человек – так и представляешь его в курточке из магазина «Вещь», вылезавшим из недорогого «Шевроле» – типичный представитель малого бизнеса. Но я все равно одел его в традиционный русский костюм. Однако трактовка образа получилась совершенно другой. Отзывы были замечательные. Меня сравнивали неприлично вообще-то даже говорить с кем. Прямо-таки молодой гений. После этого наступило короткое затишье, видно, где-то наверху крутились какие-то планеты моей судьбы, а потом раздался звонок, меня пригласили и сказали:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.